



Звонок был настырным, долгим, как паровозный гудок: межгород.

Телефон стоял в прихожей под большим овальным зеркалом, и, когда звонила мужнина родня, Маше казалось, что зеркало сотрясается, как от проходящего поезда, и вот-вот упадет.

Казенный плоский голос: ждите, Мариуполь на проводе. По голосам их, что ли, на работу принимают?

Звонила Тамара, двоюродная сестра мужа.

Обычно она поздравляла с Новым годом или сообщала о смерти очередной тетки — у Анатолия в Мариуполе был целый хоровод престарелой родни.

Маша хотела сразу же передать ему трубку, но Тамара сказала:

— Постой-ка, Маш, я ведь именно что к тебе...

И смущенной скороговоркой сообщила, что после неудачной операции аппендицита в Ейске померла племянница тети Лиды. Вот.

— Это какой же тети Лиды?

— Да видала ты ее, и племянницу видала на моей свадьбе. Тетя Лида, покойница, она не нам приходится родней, а со стороны...

Ну, пошло-поехало... Короче, с той, другой стороны, не мариупольской, а ейской.

Маша давно уже оставила многолетние попытки запомнить все родственные связи изобильной мужниной родни.

— ...и, слышь, племянница-то померла, но от нее осталась девчоночка трех лет.

— Ну и что?

А то, явно волнуясь, торопливо рассказывала Тамара, что эту девочку никто из ихней родни брать не хочет, хотя родня очень даже зажиточная: двоюродная сестра покойницы сама зубной техник, дом — полная чаша...

Живые с покойниками в той родне дружно шагали рука об руку из рода в род, весело перекликаясь и переругиваясь, деспоривая, допевая песню и допивая шкалик.

Странно, что никто из той родни так-таки и не хочет взять этого ребенка.

Маша стиснула зубы. Не горячись, сказала она себе, никто не собирался тебя обидеть, никому дела нет до твоей боли.

— Томка... — наконец сказала она спокойно. — Ты мне все это зачем говоришь?

Та замялась. В трубке шумел равнодушный прибой чьих-то гулких голосов, и Маша вдруг поняла, что ради этого разговора Тамара явилась на телеграф, выстояла очередь к кабине...

— Ну, может, вы подумаете, Маш... — словно бы извиняясь, проговорила та. — Все же у вас детей нет, может, это шанс? Как ни крути, а тебе уже... тридцать шесть?

— Тридцать четыре, — оборвала Маша. — И я надежды не теряю. Я лечусь.

— Ну, как знаешь... — Тамара сразу сникла, потеряла интерес к разговору. — Так ты и телефона не запишешь, бабы этой, дантистки? На всякий случай?

И Маша зачем-то записала, чтобы не обижать Томку, — ведь хорошего хочет, дурында этакая.

Все у них просто, у этих мариупольских коров с полными выменами...

Она опустила трубку и подняла голову. Из овального, в резной черной раме зеркала на нее внимательно смотрела еще молодая женщина с подвижным, усыпанным обаятельной веснушчатой крупкой лицом. За спиной у нее, в проеме открытой в спальню двери, виден был отдыхающий после дежурства муж. Его босая ступня покачивалась маятником в такт то ли мыслям, то ли мотивчику, напеваемому беззвучно. Лицо заслонено ставнем раскрытой книжки, название и автор опрокинуты в зеркалье — прочесть невозможно.

Далее перспектива зеркала являла окно, где тревожно металась на ветру усыпанная белыми «свечками» крона киевского каштана. А выше и глубже поднималась голубизна небесной пустоты, то есть отражение сливалось со своим производным, истаивало в небытии...

Вдруг ее испугало это.

Что? — спросила она себя, прислушиваясь к невнятному, но очень острому страху. Что со мной? Этот страх перед услужливо распахнутой бездной — почему он связан с привычным отражением в домашнем зеркале?

Всю ночь Маша не спала, дважды поднималась накапать себе валерьянки. Толя молчал, хотя она слышала, что и он ворочался до рассвета.

Ровно год назад у них после многолетних медицинских мытарств родился крупный, красивый мертвый мальчик.

Наутро после разговора с Мариуполем Маша дождалась, когда за мужем захлопнется входная дверь, и набрала номер телефона этой странной женщины, которая не могла или не хотела пригреть племянницу-сиротку.

И все сложилось: и дозвонилась быстро, и женщина оказалась на месте, и слышно было фантастически ясно. И разговор произошел мгновенный, отрывистый и исчерпывающий, словно судьба торопилась пролистнуть страницу с незначительным текстом.

Выслушав первую же Машину фразу, та сказала:

— Вы эту девочку не возьмете. Она невообразимо худа.

— Что это значит? — спросила Маша. — Она больна?

— Говорю вам, вы эту девочку не возьмете. Вы просто испугаетесь.

— А... где она сейчас? Кто за ней смотрит?

— Там соседка душевная, с покойной Ритой дружила. Она хлопочет насчет... определить девочку... в учреждение.

— Адрес! — тяжело дыша, сказала Маша. Та продиктовала.

Маша молча опустила трубку.

Днем Толя позвонил из госпиталя, сказал, что есть два билета на Райкина, — пойдём?

— Что-то не хочется...

И весь вечер была сама не своя. Зачем-то села перебирать документы. Тихо сидела, задумчиво, как пасьянс, раскладывая аттестаты зрелости, дипломы, свидетельство о браке. Письма, которые писал ей Толя еще студентом Военной медицинской академии.

Перед сном он вышел из ванной, посмотрел на жену, зябко ссутуленную над цветными картонками документов, подобравшую под стул ноги в мягких тапочках. Маша подняла голову, улыбнулась виновато.

Он вздохнул и сказал:

— Ну, поезжай, разберись... Тебе ее воспитывать.

\* \* \*

До Ейска Маша добралась на поезде удобно, с одной всего пересадкой, но, когда разыскала нужный адрес по Шоссейной улице, оказалось, что девочка уехала с детским домом на летнюю дачу.

Пристроила ее та самая душевная соседка Шура, она из года в год работала хлеборезчицей на летних детдомовских дачах. Да ты сама посуди: неуж не выгодно: и харчи казенные, и воздух морской, и получка цельная остается. Все это Маша выяснила за десять минут у двух старух, словоохотливых обитательниц вечной околоподъездной лавочки.

— Шура-то прям извелася вся, испереживалася: не есть ребенок, хоть ты тресни, будто ее на ключ замкнули. Может, там с детьми отойдет? А то как бы не истаяла вовсе...

— А что отец? — спросила Маша. — Он вообще имеет место?

— О-он? Он место име-е-еть... — подхватила старуха. — На нарах он место имеет, добре место. Плацкарту бесплатну.

И вторая раскудахталась над этой шуткой и долго, вздохнув, смеялась, отирая ладонью рот и повторяя:

— Эт точно, на нарах он место имеет, эт точно!

Маша добралась до автовокзала и купила билет, как соседки научили: до станицы Должанской.

...Летняя дача детского дома размещалась в четырехэтажном корпусе бывшего санатория то ли металлургической, то ли текстильной промышленности. Года четыре уже как здание передали Минздраву и после ремонта перевели туда детский санаторий. Так что сюда привозят детей с церебральным параличом. И, знаете, неплохо подлечивают. А один из корпусов сдают детским домам под дачу.

Попутно с этими сведениями Маше пришлось выслушать некоторые факты биографии представительного дяденьки в полосатой пижаме. *Мои жизнь и борьба в сборочном цеху тракторного завода.*

Он причалил невзначай, пока она гуляла, пережидая тихий час, — вернее, металась вдоль каменного парапета набережной, — и все толкся и толкся рядом, не чуя тяжелого ее волнения.

Началось с того, что она никак не могла разыскать Шуру, *душевную соседку*, — ту самую, что пристроила ребенка на дачу. Машу посылали с одного этажа на другой, и повсюду Шуру «вот только

что видели», потом — «за продуктами, видать, уехала...», пока одна из раздатчиц в пустой столовой, с подробным интересом изучив Машу с головы до бо-соножек, не сказала:

— А Шура, это... ваще...

— Что — вообще?

— Так это... отгулы она взяла. Зубы драть.

Кроме того, директриса, с которой только и можно было говорить о девочке, отлучилась утром в Ейск и вернуться должна была к четверем.

Маша вышла к набережной, залитой июньским солнцем.

Длинные белые пляжи благодатной косы были пересыпаны курортниками в цветных купальных костюмах. Во влажном, еще не выкаленном солнцем воздухе всплескивали звонкие выкрики и шлепки волейболистов: ребята играли поверх дырявой провисшей сетки. Кто-то из игроков с тупым стуком послал в воду такой мощный крученный мяч, что загорелая девушка в синем купальнике восторженно завизжала и бросилась за ним... Несколько бесконечных секунд мяч стоял в небе, вращаясь посреди барашковой зыби голубоватых облаков, и бесконечно долго, увязая в песке, бежала к нему девушка... пока он не стал обреченно падать, падать, убилися о мокрый песок в шаге от воды, мертво качнулся туда-сюда и замер.

Неподалеку от Маши группка мужчин и мальчишек сгрудилась над кем-то, кто сидел на дощатом ящичке из-под пива, быстро передвигая что-то руками на доске, положенной на другой такой же ящик. Издали можно было принять их за филателистов,

если б не странное излучение опасности и азарта, исходящее от всей компании.

На две-три секунды над головами их воцарялась враждебная тишина, которая взрывалась огорченным матом, смехом, угрозами. Тогда на мгновение компания распадалась, открывая рыжие вихры сидящего и юркие озорные руки, будто готовые броситься наутек. И опять грозно смыкалась над ним.

Какая-то игра, подумала Маша, наверняка азартная. И значит — мошенничество, проигрыш, отчаянье, месть...

В прозрачной ультрамариновой толще с двумя ярко-красными заплатами надувных матрацев ослепительными искрами вспыхивало солнце. Дымчатое небо опускалось на горизонт нежной опаловой линзой. Сфера небесная и сфера морская двумя гигантскими зеркалами отражались друг в друге до самозабвенной обоюдобездонной голубизны.

Почему, почему от этих мерно бегущих к берегу волн, от ленивых тел на цветастых подстилках, от акварельно-чистой линии горизонта ее охватывает такая обреченная тоска, словно уже и деться некуда? Словно вот-вот захлопнется ловушка? Ведь никто и ничто не может заставить ее...

— ...и я уж тогда прямиком в народный контроль, — возбуждаясь от собственного рассказа, бубнил дядька. — Та что ж это у вас, товарищи, в цехах творится!

— Извините! — глухо проговорила Маша. — Я... мне нужно идти.

Повернулась и пошла.

Резкий окрик, остервенелая ругань, стук перевернутой доски за спиной — и вот уже рыжий обо-

гнал Машу, улепетывая вдаль по набережной, трепеща на ветру синими сатиновыми бриджами.

Двое пацанов бежали за ним, высвистывая и выкрикивая что-то вслед...

\* \* \*

— Взглянуть вы, конечно, можете... — сказала рослая и плечистая директриса (просто гренадер какой-то! — сколько же материи ушло на ее белый халат?). — Взглянуть — это пожалуйста.

Разговор происходил в длинной проходной комнате, похожей на просторный коридор, с двух сторон запертый стеклянными дверьми. Это была и весовая и приемная — даже массажный стол тут стоял.

— Только не считайте нас мучителями. Она ведь, собственно, не наша. Она пока непонятно чья. Сядьте вот здесь. Возьмите книжку, вроде как читаете. И не реагируйте особо. Я имею в виду — ничем не выдайте своего... Словом, не охайте! Держите себя в руках.

Минут двадцать Маша сидела в кресле, тщетно пытаясь унять дрожащее сердце, уставясь в открытую книгу — ей сунули какое-то медицинское пособие по лечебной гимнастике при церебральном параличе.

Рядом орудовала шваброй бойкая бабка — словно клюшкой загоняла шайбы под столы и кушетки. Она и сама была как огромная шайба — круглая, перекатистая: успевала и тряпку отжать и перебраться оживленным замечанием с медсестрой.

Та говорила с характерным прибалтийским акцентом:

— ...Ну не помню я их лиц, не помню! Я фсех детей по рукам-ночкам знаю. Они ше каждый готт у меня электрофорез проходят. Я как увиттала эту ношшку со шрамом на колени, так сразу узнала — это ше Игорекк! Здравствуй, Игорекк, как ты фырос! Ты мне его фнешность не описывай, скажи — каккого цвета у него трусы...

Открывались и вновь закрывались стеклянные двери. Маша каждый раз внутренне съезживалась. Дважды прошмыгивали какие-то девицы в белых мини-халатах, по последней моде. Снова открылась дверь.

Маша подняла голову и чуть не застонала: плеснуло в сердце и отхлынуло, оставив ледяной ожог.

Скелетик в трусиках. Таких скелетиков за колючей проволокой Бухенвальда она видела однажды в документальном фильме перед сеансом в кино. Закрыла, помнится, глаза и головой привалилась к Толиному плечу.

Непонятно, как этот ребенок, чей пупырчатый стелек позвоночника просвечивал сквозь покров кожи, стоял, передвигался... вообще держался на ногах! А уж рядом с огромной директрисой девочка выглядела комариком, которого можно дыханием сдуть.

Маша внутри вся обмякла и уткнулась в книгу. Перед взором не страница плыла, а огромные зеленые глаза скелетика и копна рыжевато-каштановых кудрей.

— Ну-у-у, — протянула басом директриса, — пойдём-пойдём, Аня-Анюта, ножками-ножками... — и, проводя девочку мимо: — Поздоровайся с тетей.

Не подняв головы, не в силах улыбнуться, двинуться, Маша услышала сухой шепоток:

— ...Дрась...

Когда за ними закрылась дверь, Маша поднялась — книга упала с колен — и с силой проговорила:

— Что происходит?! Как можно было довести ребенка до такого состояния?! Сколько она весит? Ведь это дистрофия, вы понимаете?!

— Это фы кому? — в замешательстве спросила прибалтийка. — Нам? У нас этта деффочка тней пять... Вы к ней каккое имеете отношение?

Маша бросилась вон из приемной.

\* \* \*

Наутро она стояла за стеклянной дверью санаторной столовой, пытаясь высмотреть копну каштановых кудрей, которых здесь было много. Не видела ничего, в глазах мутилось. (По курортной поре не удалось вчера снять комнату, и ночь Маша провела в зале ожидания железнодорожной станции.) Воображала всякие ужасы: что, например, девочка умерла от истощения нынче ночью.

Потом спустилась на первый этаж к закрытому кабинету директрисы. Дождалась, когда в конце коридора появится гренадерская фигура в белом халате, преградила ей дорогу и проговорила с безысходной решимостью:

— Я возьму этого ребенка. Научите, как пройти формальности.

Затем часа полтора они сидели в кабинете, и Маша под диктовку по пунктам записывала все девять кругов ада, которые намеревалась в рекордный срок обежать со всеми документами.

Она всё не могла опомниться, застенчиво пыталась оставить на столе деньги, сунуть их в карман необъятного директорского халата, заложить между страниц какой-то учетной тетради в картонной обложке, то и дело хватая увесистую рабочую руку этой женщины и умоляюще бормоча:

— Только бы кто посидел с ней, покормил, пожалуйста, хоть несколько ложек, но чаще, пожалуйста! — пока директриса резко не отчитала ее и обе они не расплакались, за что-то друг друга благодаря.

*Душевная соседка Шура*, которую Маша безуспешно разыскивала, все это время стояла за приоткрытой дверью директорского кабинета и, обмирая, слушала.

Когда стало ясно, что дело сладилось и эта не такая уж и молодая женщина захлопнула за собой все ходы и выходы, Шура крепко зажмурилась, с силой открыла глаза, уставясь на голубой квадрат окна в дальнем конце коридора, и вдруг с жаром неловко перекрестилась. Вдруг Шура поняла, что ошиблась *в направлении*, и похолодела: да не так, а так! Трижды сплюнула через левое плечо и столь же истовым замахом положила на широкую грудь крест правильный.

Она боялась скрипнуть паркетинной, кашлянуть. Боялась, что дело сорвется и девочку не увезут.

Но пуще всего — пуще смерти своей — она боялась самой девочки.

## 2

«...А хочешь, свет мой, зеркальце, расскажу тебе грустную историю поруганной любви?»

Не смейся, это настоящая любовь между миссис Кларксон, моей здешней хозяйкой, и диким гусем, что однажды упал к ней на лужайку.

Я готов исписать сейчас много страниц, потому что взволнован: последний акт драмы разыгрался вчера на моих глазах. Вернее, я сидел в своем сарае, который они величают *флигелем*, и дерут с меня приличные деньги, и делал вид, что репетирую это супервиртуозное место в финале Четвертой симфонии Бетховена, где фагот должен прострекотать и закончить за кларнетом. А еще во второй части — сложнейший и пикантный флирт на пуантах тридцатидвухпунктирного ритма, что полностью опровергает слова незабвенного моего учителя Николай Кузьмича: «Фагот, пацан, — инструмент меланхолический...»

Но Шехерезада продолжает дозволенные речи.

Значит, года три назад роскошный белоснежный гусь упал на лужайку заднего двора, где у них гараж для трактора, сенокосилки, садовых инструментов и прочего барахла.

Время от времени семейство Кларксон использует эту постройку для очередного «гараж-сэйла» — рассказывал ли я тебе, что в прошлом году купил у них за доллар чашку северского фарфора позапрошлого века? Ручка была отбита и безобразно прилеплена чуть не пластилином. Я отпарил, разъял, связал нежнейшим спецклеем, надышал, облизал... и она стоит у меня на полке, сверкая почти нетронутым золотым ободком по голубому полю... При на-

шей с тобой бездомности моя страсть к антиквариату выглядит идиотизмом.

Сейчас мне вдруг пришло в голову, что неутоленной любовью к изяществу настоящего фарфора я обязан деду. У него за стеклом буфета лежала с видом послеохотничьего изнеможения фарфоровая собака шоколадного цвета. Довоенная. Знаешь, почему? Штамп — знаменитый штамп ЛФЗ споднизу на брюхе — у нее был зеленым. После войны ставили уже фиолетовые. А еще было такое блюдо белое, с пионерами по ободку. Мальчик и девочка: мальчик в горн трубит, девочка в галстук с рукой-дощечкой, перечеркнувшей лоб. Дед уверял — двадцатые годы. Я спрашивал: разве в двадцатых пионеры были? Он говорил: ну, тридцатые...

Ох, прости болтуна! Сам я был пионером, был. Точно помню.

Совершаем немыслимую дугу: из Жмеринки пятьдесят второго в штат Канзас девяносто восьмого года. Век, правда, все тот же — вполне омерзительный, угасающий во мраке и позоре.

Итак, гусь: отстал от своих, притомился... потом выяснилось, что у него повреждено крыло.

Миссис Кларксон отбила его у соседских псов, выходила, вынянчила, и все лето он бегал за нею по пятам, как собака. Всем друзьям она рассылала фотографии, даже в местной газетенке появилась заметка с фото: «Миссис Кларксон со своим питомцем».

Осенью он благополучно отбыл по птичьей своей прописке.

Следующей весной прилетел с парой.

Гуси разгуливали по двору, словно домой вернулись, и видно было, как он с гордостью демонстри-

рует подруге свои владения. Точно как я впервые водил тебя по Рюдесхайму.

Помнишь нашу комнату в рюдесхаймском замке? А «ледяное вино» в каменном подвале? А пьяных болельщиков местной футбольной команды, горланивших народные песни? А железную ладью канатной дороги в тумане, откуда навстречу нам выплыл смешной лупоглазый альбинос в рыжей тирольке — тот, что (странно!) так тебя напугал?

Но гуси: следующим летом их прилетела целая колония. Они заняли весь двор, никому не давали пройти, шипели и гонялись за нарушителями границ — считали своей территорией. Все вокруг загадили пометом. Студентка-дочь прилетела с бойфрендом на каникулы и, укушенная гусыней, улетела на следующий день. Сын вообще раздумал приезжать. Измученная миссис Кларксон еле дотянула до осени и, надо полагать, заказала благодарственный молебен в своей церкви, славя милосердного Господа в честь сезонного освобождения. (Она вообще очень набожна; в гостиной висит портрет ее прадеда с трогательной надписью по низу полотна: «Межи мои благочинны, и стезя моя послушна мне».)

Нынешней весной она уповала уже не на высшие силы, а на себя, и к романтической поре птичьих перелетов готовилась загодя. Наняла в питомнике соседней фермы двух волкодавов, которые, завидев огромный белый шатер опускавшейся на двор гусиной стаи, сорвались, как торпеды, и, яростно дрожа, гоняли бедных птиц до самого вечера, не давая приземлиться.

Гуси металась над лужайкой, как порывы белой метели, снежная буря висела над головой и шипела,

и клокотала... Надо было видеть это сражение! Воздух дрожал от гула: обескураженные, разгневанные крики гусей, визг и захлеб охотничьего лая и рыка!

А из окна кухни на битву глядела, глотая слезы, госпожа Кларксон.

Что-то было не так в ее ухоженном, упорядоченном мире. Что-то надломилось.

Даже мне стало не по себе, и не только потому, что невозможно в фагот дудеть, когда воздух вокруг вибрирует в страшной какофонии. Просто грустная эта история почему-то напомнила мне — угадай, что и кого?

Странная штука наше воображение, и еще более странная — память наша.

Отчего люди в американской глубинке часто напоминают мне гурьевских соседей? Отчего это? Ведь тут — благодать и комфорт в каждой кнопке, а там, в городе моего детства, — песчаные бури, тяжелая мутная река Урал, степь да степь кругом, жирная грязь, карагачи, джида, бедные палисады под окнами. Были еще огороды у реки, где народ сажал картошку (так и говорили: «едем на огород!») — и где буйно рос паслен, по-нашему — «вороняшка».

Да знаешь ли ты, что такое «вороняшка»? Это сорняк такой, мелкие кустики с черными приторно-сладкими ягодами. Растение помойное, приличным людям, говорила мама, есть его нельзя. Но я, после гибели отца мгновенно ставший беспризорником, убежал к соседям Солодовым есть любимые пирожки с «вороняшкой». (Их жарили на хлопковом масле, подсолнечное берегли.) Солодовы меня жалели: так и не раскрытое убийство моего отца, главного

инженера гурьевского нефтеперерабатывающего завода, многие годы будоражило всех соседей и бросало жалостливый ответ на сироту.

Солодовы потчевали меня пирожками с «вороняшкой» от пуза.

Семейство было забавным: заполошным, сложносоставным, горластым, драчливым — каждый со своим особым характером, даже самые мелкие дети. Я дружил со средним, Генкой, — вруном, разбойником и прохвостом. Сейчас он монах в Валаамском монастыре, что всегда славился своим строжайшим уставом, и я не вижу тут никакого противоречия.

Папка их, дядя Вася, родом из какой-то мордовской деревни, был большим партийным начальником. Мужик башковитый и честный, он крепко выпивал. И тогда гонял все семейство. Жене кричал: «Лёлька, дура ты набитая, в высшей степени!» В детей метал костью, как пират Сильвер, и всегда попадал. Одноногий, одержимый во всем, он решил насадить вокруг дома настоящий фруктовый сад и каждый день с редкостным упорством претворял мечту в жизнь: вытаскивал в сад лопату, стул, садился на него и единственной ногой копал яму под очередное фруктовое дерево. Посадил сорок семь плодовых деревьев! Тебе, дитю благодатной украинской почвы, этого подвига не понять.

Дядя Вася его совершил.

Женат он был на тете Лёле, дочери врага народа. Этого поступка осознать и оценить ты уже, слава богу, не можешь, да и не надо.

В молодости, со своей золотой косой, с нестерпимо синими глазами, тетя Лёля была такой красавицей, что партийный выдвиженец дядя Вася забыл

про ум, честь и совесть нашей эпохи и взял ее со всем выводком младших братьев и сестер. А также со старой матерью, о которой надо бы рассказать отдельно и опасно. Капитолиной Тимофеевной ее звали — сухонькая твердая старушка чуть не дворянских кровей. Это с одной стороны. С другой стороны, между детьми и внуками считалось, что она неграмотная. Это противоречие в нашем детстве странным не казалось, мы о нем просто не думали. А сейчас я уверен, что внезапная неграмотность настигла Капитолину Тимофеевну тогда, когда трое старших ее, взрослых детей — после расстрела отца, — отказались от матери *через газету*, и она с тремя младшими осталась на улице. Сыграло ли в этом роль особое отвращение к советскому печатному слову, или то был обычный страх... сейчас уже кто ответит?

Была она строга и, если что не по ней — молча вцеплялась в волосы и таскала жертву по всему дому. Обшивала — неистовая труженица — всю семью. Все умела: брюки, пальто, какие-то полотна-гобелены с портретом Пушкина (довольно похожим, но слишком изысканным по цветовой гамме: темно-зеленые водоросли бакенбард — все шелковое мулине, — вдоль изможденных щек цвета какао).

Так вот, дядя Вася, вообрази, не побоялся взвалить на себя весь этот опасный выводок. Причем с суровой тещей сражался всю жизнь, а когда она умерла, оплакивал ее настоящими слезами, запил даже, головой о стенку бился: другой такой, говорил, больше не найду.

Иногда, заигравшись до слипания век, я оставался ночевать у них на кушетке в большой комна-

те — хотя вполне мог перебежать дорогу до своего дома. Но мама после гибели отца так и не очнулась, ее оглушила странная тягучая задумчивость о своей доле. Возвратясь с работы в холодный неприбранный дом, она валилась на диван и лежала часами, вяло грызя яблоки из тех, что каждый год привозил из Жмеринки дед. Вяло глядела в окно и почти со мной не разговаривала. В наши дни это назвали бы тяжелой депрессией и месяца за три вылечили бы, а тогда все соседки осуждали ее за нерадивость и считали плохой матерью.

Так что время от времени я оставался у Солодовых на ночь.

Вспоминаю свои пробуждения под гимн Советского Союза из радиоточки...

Сквозь сон едва приоткрыв глаза, я видел простоволосую тетю Лёлю. Как бессловесная жертва, что мягким горлом ожидает лезвия ножа, она — до-родная, по-утреннему истомная, в байковом лиловом халате — сидела на стуле, откинув голову: агнец в ожидании стрижки золотого руна. Позади нее стояла маленькая бабушка Капитолина Тимофеевна и широкими замахами разгребала эти невероятные Самсоновы власы. Сначала месила их руками, борозды взрыхляла, проводила глубокие рвы. Затем гребнем натуральным, десятипалым, отделяла, разбрасывала, перекладывала на стороны. И, наконец, плела, крутила жгуты, косу вылепляла, скульптурную косу. По завершении тяжких этих работ широким замахом водружала дочери на плечо лоснистого золотого удава.

Я с замиранием сердца следил сквозь полусмеженные веки за этой церемонией. Почему-то мне, мальцу, она казалась таинством интимного свойства.

Годы спустя, пробуждаясь рядом с какой-нибудь женщиной, я убеждался: все, что связано с волосами, у женщины полно непостижимой тайны.

Однако и разболтался же я.

Плохо представляю, когда к тебе попадет это письмо, и, уж конечно, не надеюсь, что ответишь. Во всяком случае, твое молчание предпочитаю твоим инопланетным зеркальным письменам, что всегда накрывают меня каким-то гулким метельным ужасом. Когда же мы свидимся?

До октября у меня контракт с оркестром в Де-Мойне. Отсюда ездить далековато, но я прижился в этом заштатном сонном городке, что существует только на областной карте. Липы здесь невероятной благодати, да и лень переезжать. На репетиции езжу на машине или, если охота поспать в пути, на автобусе — два часа, остановка в Канзас-Сити.

А тут, дитя мое, на Среднем Западе, публика самая захолустная. Особенно автобусная, неимущая. Вот тебе вчерашняя картинка. Черный бродяга: дикий конский глаз, великолепный густой баритон, влажный, хрипатый, безадресный смех в обрамлении крупных белых зубов. Прикид безобразный — драные джинсы, линялая клетчатая рубаша поверх засаленной водолазки эпохи семидесятых, бурые кроссовки.

И все два часа он, не умолкая, говорит на этом их, знаешь, черном диалекте, который и понять-то невозможно. Говорит пылко, дружелюбно, в пространство, словно обращается к невидимому собеседнику. Остальные пассажиры сидят, уставившись в окна, заткнув уши наушниками плееров.

А на короткой остановке, разминаясь после долгого сидения, он упоенно танцевал на тротуаре под никому не слышную музыку: с бумажным стаканчиком кофе в одной руке и зажженной сигаретой в другой. Голова как на шарнирах, плечи, руки, бедра и колени одновременно кругообразно вращались, будто снова и снова он тщетно стремился обнять, обхватить кого-то невидимого...

А когда я обниму тебя, скажи на милость?

Местный оркестр с его мелкими сварами мне надоел, и после октября я контракт возобновлять не стану, подамся куда-нибудь поближе к тебе. Профессор Мятлицкий уговаривает переехать к нему в Бостон. Представь, в его полных девяносто он строит планы гастролей и мастер-классов лет этак на десять вперед. «Саймон, не будьте идиотом, — говорит он. (Мое имя Профессор произносит на здешний лад, и мне это даже нравится, есть нечто аристократическое в этом «Саймон». Не то что плебейское «Сеня», которое всю жизнь сопровождает меня дурашливой припрыжкой.) — Что вам в тощей Европе, Саймон, — медом намазано?»

Намазано, отвечаю я, и каким медом! Так что скоро примусь тебя разыскивать — выгляни, пожалуйста, дай знак.

Где ты сейчас, моя зеркальная девочка? Во Франкфурте? В Монреале? В Берлине? Что за фокусы-флиртровки с миром за гранью бытия сочиняешь? «Огненное кольцо»? Ящики с исчезновением влюбленных? Зеркальные шары с летающими головами?

Кто смотрится в тебя, моя радость, кто в тебе отражается?

Эти вопросы считай риторическими. Надеюсь, ты не хранишь мне верность? К черту верность тела! Только возвращайся ко мне время от времени. Только возвращайся, бога ради...»

### 3

— Старый лабух Сеня, вот кто ее до чертиков любил. Да и она вроде его любила. Ну... если и не любила, все же была привязана. Он ей письма писал куда-то «до востребования» — была в нем такая старомодная церемонность. Никогда не знал, дошло письмо или нет — она ведь не отвечала или писала записку в несколько слов этой своей абракадаброй, так что откроешь письмо, стоишь как идиот, вертишь листок и так и сяк, вверх ногами переворачиваешь, а все никак не поймешь — что это. Как шифр какой-нибудь шпионский! И такая досада, такая злость возьмет! — так и смахнул бы с листа эти узоры, как вот паутину с зеркала! У вас в Интерполе наверняка есть спецы по расшифровке такого почерка.

Но Сеню это не трогало. Его ничего в ней не смущало, ничего не раздражало.

К примеру, она всегда гнала машину — не говоря уже о мотоцикле — с душераздирающей скоростью. По любой неизвестной дороге! Никто этого вынести не мог, кроме Сени. Он всегда уступал ей руль и всегда сидел рядом с расслабленной улыбочкой, кретин кретином: будто катит в ландо по Бу-

лонскому лесу и приподнятым цилиндром приветствует знакомых баронесс.

И он совсем ее не ревновал. Ее случайные романы его не касались. Их обоих вообще ничего не касалось. Нет, правда! Они были... ну... как бы это... закапсулированы в своей любви. Он смотрелся в нее, как в зеркало, не отрываясь. Хотя почти всегда жил от нее очень далеко и был гораздо, гораздо старше. Такая странная связь...

Между прочим, я ведь сразу узнал ваш голос — через столько лет. Удивительно! Как только услышал в трубке: «Владимир?» — во мне как отщелкало: Интерпол, следователь Керлер.

Можно вопрос, господин Керлер? А почему это дело опять ворошат? Я так понимаю, что его закрыли. Столько лет прошло. И Сени уже нет с его задумчивым флагом...

...Ничего, что я закурю? Слава богу, есть еще в Монреале заведения, где хоть на террасе можно курнуть. С ума они все посходили тут, на Западе... Вообще я вам благодарен, что вы согласились допросить меня на воле... Шучу, шучу! Просто под пивко и сигаретку разговор как-то шустрее идет. Хотя о ней... ну, вы понимаете... о ней мне всегда трудно говорить. К тому же я давно все рассказал, еще на тех, первых допросах.

...Да нет, красивой она не была. Обычная внешность: нос как нос, лоб как лоб... Глаза были яркими, да. И тревожными, странническими: будто она всегда начеку, налегке, на взлете... Но в нашей про-

фессии до глаз дело не доходит. Нас снимают так, чтобы виден был трюк, а не лицо. Лицо каскадера в кадре — это загубленный трюк.

Ты должен дублировать актера, чтоб зритель не заметил подмены. И вот в этом она была гениальна! Тело у нее было безумно талантливое. И сумасшедшая реакция: при обеих занятых руках успевала поймать падающий стакан и поставить на место. Мне один знакомый, он физиолог, объяснял, что это люди такие, переученные левши: у них другое распределение функций в полушариях мозга. Название есть научное: ам-би-декст-ры. И, мол, недавно австралийские исследователи выявили, что такие люди быстрее оценивают ситуацию и быстрее принимают решения, и в спорте, и просто в жизни. Что вы улыбаетесь? Я чепуху порю, да? Так я ж в этом ни черта не понимаю. Говорю, что слышал. Да и сам бывал свидетелем.

Просто объясняю вам — ее природа создала по какому-то спецзаказу. Идеальное существо для прыжков, сальто, растяжек и прочих трюков. Что б она ни делала, на нее все время хотелось смотреть. Уводила взгляд за собой и дальше вышивала им любые узоры. И сложена была... не как эти глянцевые порнозвезды со вздутыми грудями. Наоборот: она была невысокая, такая... пацанистая... и очень соразмерная, знаете, каждая часть тела пригнана к другой самым безукоризненным образом. Двигалась — будто откликалась на неслышный зов. Словно всегда начеку. Даже когда что-нибудь увлеченно рассказывает. Это как бывает: милый тебе гость уже собрал чемодан, надел туфли, куртку, ожидает такси. И разговор еще оживленный, и хох-

мы, и смех... а он между тем прислушивается — не машина ли там, у подъезда, сигналит? И у тебя как сожмет сердце! Потому что... увидимся ли еще?

...Черт, последняя сигарета... Спасибо, я курю только «Дю Мурье»... у них тут должны быть.

*Месье, силь ву пле, ан наке дё Дю Мурье э дё Фан дю Монд!..<sup>1</sup>*

А знаете, здесь приятно. Мне казалось, тут геи тусуются. Нет? Да мне все равно, геи, не геи. Они тоже люди... Взять Женевьеву: я ее уважаю. Вы ведь допрашивали ее, о'кей? Вы ее видели. Да, она довольно крепко закладывает, но я о другом: вот человек, который перевернул судьбу. Ту, что ей на роду была написана. Ну, посудите — девочка из захолустной деревушки на побережье Бретани. Ветра, дожди... Отец-рыбак, заработки плевые, по несколько дней в море. Мать в каком-то баре спиртное рыбакам продает. Пятеро братьев и сестер, и такая католическая закваска, что ею можно стены конопатить — ни черта человеческого не пропустит. И что? Когда Женевьева поняла, что ее влечет... ну, другое... что она — другая... порвала с семьей, уехала в Канаду, скиталась, бедствовала... и в конце концов победила. И без нее «Цирк Дю Солей» трудно представить. Она — форматор от бога, и фотограф от бога, и живет как хочет — вот что я хотел

---

<sup>1</sup> Месье, прошу вас, пачку «Дю Мурье» и «Фан дю Монд» (*искаж. фр.*).